

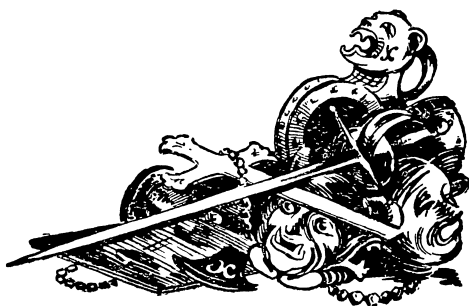
Якоб Вассерман

ЗОЛОТО
КАХАМАРКИ



Якоб Вассерман

ЗОЛОТО КАХАМАРКИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва — 1956

Перевод с немецкого.

Под редакцией и с послесловием
И. П. МАГИДОВИЧА



Scan AAW



1

Следующий рассказ был записан рыцарем, впоследствии монахом, Доминго де Сория Лусе в одном из монастырей города Лимы, куда он, отрекшись от мира, удалился тринадцать лет спустя после покорения страны Перу.

2

В ноябре 1532 года мы выступили в поход — триста рыцарей и несколько пехотинцев *, под командой генерала Франсиско Писарро — мир праху его.

Наш путь лежал через чудовищные горы — Кордильеры.

Я не буду долго останавливаться на трудностях и опасностях этого похода. Достаточно, если скажу: не один раз мы считали, что наступил наш смертный час, причем самые муки голода и жажды казались нам безделицей перед ужасами дикой природы, зияющих пропастей, обрывистых троп; во многих местах тропа суживалась настолько, что нам приходилось спешиваться и тянуть лошадей за поводья. Не буду рассказывать ни о

жутком безлюдье этих мест, ни о стуже и снежных бурях, ни о том, как иные из нас дошли до отчаяния, проклиная злополучный день, когда они решились пуститься в эти убийственные края.

Но на седьмой день мученья наши пришли к концу. Перед наступлением вечера, радостно настроенные, несмотря на крайнее изнурение, достигли мы города Кахамарки *.

Погода с утра стояла прекрасная, но тут начала портиться, и можно было опасаться ненастья; вскоре действительно пошел дождь попеременно с градом, и стало очень холодно. Кахамарка означает — город морозов.

Мы были чрезвычайно удивлены, что город был покинут жителями. Никто не вышел к нам из домов с приветствиями, к чему мы привыкли в прибрежных странах. Проезжая по улицам, мы не встретили ни одного живого существа, стояла мертвая тишина,— только копыта наших коней гулко стучали по камням мостовой да эхо повторяло этот гул.

Зато до наступления темноты мы успели заметить на склонах гор, насколько хватал глаз, необозримое множество белых шатров; казалось, горные скаты были осыпаны хлопьями снега. Это было войско Инки Атауальпы. Такое неожиданное открытие привело в смущение даже храбрейших из нас.

3

Генерал признал необходимым отправить посла для переговоров с Инкой. Выбор его пал на молодого рыцаря Эрнандо де Сото *, с которым меня связывала искренняя дружба; его сопровождало пятнадцать всадников.

В последнюю минуту Сото выхлопотал для меня разрешение сопровождать его, что чрезвычайно меня обрадовало.

Мы выступили ранним утром. Горная цепь с утопающими в небесной синеве вершинами справа, цветущая равнина впереди и слева,— все это было так ново, так прекрасно, что я пришел в восторг и не мог наглядеться досыта.

После часа пути мы подъехали к широкой реке. Через реку был переброшен красивый деревянный мост. Здесь нас поджидали и без задержки повезли в стан Инки. Скоро мы очутились на просторном дворе, окруженном

колоннадой. Колонны были украшены золотыми орнаментами искусной работы, стены облицованы желтыми и кобальтово-синими изразцами; в середине двора находился круглый каменный бассейн, снабжаемый по медным трубам теплой и холодной водой. Пышно разодетые вельможи и женщины окружали государя, облаченного в пурпур; на лбу у него была эмблема царской власти — алая повязка с бахромой, которая спускалась до самых глаз.

Лицо его было прекрасно, с необычайным, кристально чистым выражением; на вид ему можно было дать около тридцати лет. Сложен он был крепко и соразмерно, осанку имел повелительную, но в то же время настолько изящную, что мы все были поражены.

Сото захватил с собой в качестве переводчика некоего Фелипильо * — туземца, незадолго перед тем окрещенного; этот человек, отличавшийся безграничным коварством, в дальнейшем был причиной больших несчастий, о чем я еще расскажу. Своих единоплеменников он ненавидел; происхождения этой ненависти мы так и не доискались. Фелипильо был единственным бунтовщиком и веротступником, какого нам удалось найти в Перу.

И вот при его-то посредстве Сото обратился с речью к Инке. Передав царю приветствие от имени генерала, Сото в почтительных выражениях просил Атауальпу, чтобы он соблаговолил посетить нашего вождя.

Атауальпа не отвечал ни слова. Ни одна черта не дрогнула на его лице. Веки его были опущены; казалось, он напряженно соображал, стараясь вникнуть в смысл выслушанной речи. Немного спустя один из стоявших подле него вельмож отрывисто проговорил:

— Хорошо, чужеземец!

Сото чувствовал себя в большом затруднении. Угадать мысль властелина и понять, какое впечатление произвела на него наша речь, было так же невозможно, как если бы нас отделяли от него горы. Что за чуждый мир! Как чужды эти люди и их нравы! Сото в учтивом, чуть не униженном тоне стал упрашивать Инку, чтобы он удостоил лично высказать свое решение. Тут по лицу Атауальпы пробежала легкая усмешка; такую усмешку впоследствии я часто подмечал у него, и каждый раз она производила на меня глубокое впечатление. На этот раз он ответил устами Фелипильо:

— Передайте вашему вождю, что я соблюдаю пост и он сегодня оканчивается. Завтра я его навещу. До моего прибытия он может жить в здании на площади, но ни в каких других. Относительно дальнейшего я распоряжусь.

Затем опять наступило молчание. Мы не слезали с лошадей, потому что в седле чувствовали себя в большей безопасности и притом — это нам было известно из опыта — на конях мы внушали перуанцам больше страха *. Сото заметил, что Инка очень внимательно рассматривал его коня, который горячился под ним, нетерпеливо грыз удила и взрывал копытами землю. Сото всегда немножко гордился своим искусством наездника; его соблазняло желание блеснуть своей ловкостью перед государем, а кроме того, он рассчитывал несколько припугнуть Инку. Он отпустил коню поводья, прищепил и пустил вскачь по мощеной площади, затем повернул назад и круто осадил на всем скаку, так что конь едва не сел на задние ноги, причем остановил так близко от Инки, что брызги пены, выступившей из его ноздрей, обдали царскую одежду.

Невиданное доселе зрелище до того поразило царских телохранителей и придворных, что они инстинктивно протянули вперед руки и при бурном наскоке животного в ужасе попятились назад. Но сам Атауальпа остался так же спокоен и равнодушен, как и раньше. Впоследствии распространилась молва, будто он в тот же день приказал казнить тех приближенных, которые выказали при этом случае такое позорное малодушие. Впрочем, этот слух, как и многое другое, о чем мне довелось услышать впоследствии, на самом деле был лишь праздным и злонамеренным измышлением, имевшим целью опорочить личность государя.

4

Почтительно откланявшись Атауальпе, мы поскакали обратно к своим, унося новые впечатления, несколько не похожие на те, с какими подъезжали сюда за несколько часов перед этим. Мы видели Инку, окруженного такой военной силой, что вступить с нею в бой казалось нам безрассудной дерзостью. Нас было триста человек, мы поджидали еще триста в подкрепление из Сан-Мигеля *; что же могли сделать шестьсот воинов против ми-



риадов? Стан перуанцев поразил нас пышностью, и мы испытывали робость при мысли о том, какими колоссальными средствами обладает этот народ, к которому мы до сих пор относились с пренебрежением; при этом подмеченная нами дисциплина и строгость нравов указывали на высокий культурный уровень, оставивший далеко за собой все то, что мы видели в прибрежных странах.

Что касается золота, то мы его видели достаточно и более чем достаточно. Масса его была необозрима. Молва на этот раз не солгала, нисколько даже не преувеличила. Не могло быть никаких сомнений, что, проникнув в эту волшебную страну, мы достигли цели самых пламенных наших желаний. Но каким образом могли мы овладеть этим золотом? Подойти на один шаг к осуществлению своей заветной мечты и увидеть себя вынужденным отречься от нее! Не было ли это еще мучительнее, чем играть с неверной надеждой?

Свое уныние мы внесли в наш лагерь, заразив им и других товарищей. Оно не рассеялось и с наступлением ночи, когда мы увидели сторожевые огни перуанцев, светившие нам со склонов гор, — неисчислимые, как звезды в небе.

В эту тяжелую минуту мы нашли непоколебимую опору в замечательной твердости и отваге нашего генерала. Отчаяние, в которое мы впали, нисколько не огор-

чило Писарро, напротив, оно доставило ему удовлетворение. Наконец-то случилось то, чего он только и желал! Он стал обходить людей, обращаясь к ним с увещаниями. «Им следует положиться на себя, уповая на провидение,— говорил он,— оно уже не раз проводило их невредимыми через самые ужасные испытания. Будь неприятель в десять тысяч раз сильнее их численностью, какое это может иметь значение, если небо на их стороне?» Он возбуждал их честолюбие, обещал им неслыханные сокровища; приписывая всему предприятию характер крестового похода против неверных, он сызнова раздувал угасавшую в людях искру воодушевления.

Затем он пригласил офицеров на военный совет. Мы собрались в доме, где генерал поместился с обоими братьями, и здесь он развил перед нами свой вероломный план. Писарро предложил заманить Инку в западную и захватить в плен на глазах всего его войска.

Мы все побледнели. Мы сделали попытку отговорить его от такого намерения, называя его план в высшей степени опасным, отчаянным делом. На это он сухо возразил нам:

— А разве мы не в отчаянном положении? Разве нам не грозит гибель отовсюду и не слишком ли поздно думать о бегстве? В каком же направлении собираемся мы бежать? Самая местность, куда мы зашли, сделалась для нас тюрьмой. Остаться на месте не менее опасно; напасть на Инку в открытом бою — безрассудно; таким образом, не остается ничего другого, как овладеть его особой.

Генерал не сомневается, что этот шаг произведет потрясающее впечатление на всю страну; в сравнении с ним все другие средства не заслуживают никакого внимания.

Я и сейчас вижу, как он, сжав кулак, с мрачным лицом вопросительно оглядел нас. Никто не отозвался на его речь; все мы сидели с поникшими головами, потому что его намерения вызвали в нас сильнейшие опасения. И все же он знал, что может рассчитывать на каждого из нас — рассчитывать при всяких обстоятельствах. Его воля подчиняла себе людей с непреодолимой силой.

Мы разошлись по домам и палаткам, но не для того, чтобы уснуть. Мои глаза по крайней мере не видели сна в эту ночь. Лежа в своей палатке, я прислушивался к темным голосам земли и к нашептываниям злого демона в моей душе. Нужно полагать, так было и с другими.

Дело заключалось в том, что для меня, как и для всех нас, край этот представлялся настоящей загадкой сфинкса, непостижимым и отвергнутым богом, а его грандиозная природа в будущем сулила еще больше богатств, чем раскрывала в настоящем. Величественные горы поднимаются из океана, точно толпа страшных великанов, а там, вверху, белые ослепительные снеговые шапки, словно небесные венцы, никогда не тающие под экваториальным солнцем и уступающие разве только разрушительному жару своих собственных вулканических огней; обрывистые склоны сьерры * с их дикими растрескавшимися стенами из порфира и гранита; ревущие потоки, рождающиеся из ледников, да неизмеримо глубокие пропасти между скал,— и внутри, в горных недрах, неисчислимые богатства драгоценных камней, меди, серебра и золота.

Золото... прежде всего золото! Волшебный сон! Ущелья, полные золотом, золотые самородки, вкрапленные в горные породы, золотые с блестящим зеленоватым отливом жилы подо льдом, золото в красноватых сияющих слитках в пещерах, в оперении птиц и в песке степей, в корнях растений и в воде ручьев!

Разве не в поисках золота оставили мы родину и пошли навстречу всевозможным опасностям и превратностям жизни, полной лишений, в неведомом нам краю?

Промотавши свою часть отцовского наследства, я слонялся по городам Кастилии, не имея насущного хлеба, с трудом поддерживая достоинство дворянина. Когда нужда окончательно схватила меня за глотку, я узнал, что Франсиско Писарро, прибывший об эту пору в Мадрид * для заключения договора с правительством, открыл набор добровольцев. С того дня, как я связал себя с ним и его делом, моим умом всецело завладела единственная мысль — обогатиться во что бы то ни стало, и в этом отношении не было никакой разницы между мной и прочими моими товарищами, рыцарями и простыми солдатами. Впрочем, в то время вся Испания, да, пожалуй, и вся Европа была охвачена лихорадочным возбуждением: дети и старцы, придворные гранды и бродяги с больших дорог, епископ и крестьянин, император и последний из его

холопов — все они потеряли способность думать о чем-нибудь ином, кроме сокровищ Новой Индии.

Эта массовая лихорадка захватила и меня и проникла в самую глубину моей души, погасив в ней последние проблески света.

6

Мы знали о храмах, в которых кровли и ступени лестниц были выкованы из золота. Мы видели сосуды, домашнюю утварь и одежду из чистого золота. Нам передавали о садах, в которых цветы были мастерски сделаны из золота, особенно маис,— его золотой колос был наполовину обернут широкими серебряными листьями, а с верхушки свешивался легкий пучок, художественно выполненный из серебра.

В этом краю золото казалось такой же обыкновенной вещью, как у нас железо или свинец, да перуанцы и не знали употребления обоих этих металлов — ни железа, ни свинца.

Непостижимо, мучительно странно было то, что золото — конечная цель и предмет самого страстного вожделения у всего остального человечества — здесь для людей не играло никакой роли.

Оно не служило средством обмена или приобретения ценностей, не было мерой вещей или ценностью само по себе, не являлось стимулом человеческой деятельности, не манило и не мучило людей и никого не делало ни плохим, ни хорошим, ни сильным, ни слабым. Можно было бы думать: если не золото, то должен же быть какой-нибудь другой металл, благородный элемент; однако и этого не было. Владение строилось у них на иных основах, чем во всем остальном мире, в каких-то сказочных, тревожащих наш ум формах.

Все зависело от деления людей по ступеням общества. Здесь миллионы людей считались абсолютно равными друг другу,— и над всеми, на неизмеримой высоте, стоял Инка. Насколько мне известно, еще никогда не было примера подобного обожествления смертного человека да, по всей вероятности, никогда больше и не будет. С течением времени я получил много доказательств подобного отношения перуанцев к своему повелителю, много выслушал рассказов по этому поводу. Он был един-

ственным источником блага и горя, всякой милости, всякого достоинства, всякого владения. Его алая повязка, обшитая бахромой, была украшена парой перьев чрезвычайно редкой птицы коракенке: эту птицу, жившую в межгорной пустыне, дозволялось убивать только для того, чтобы украсить ее перьями царскую голову.

Мне рассказывали, что в седой древности народ жил без света и без закона. Тогда солнце — великая и светлая мать человечества — сжалилось над ним и послало к нему двух своих детей принести ему дары культурной жизни. Двое небожителей — брат и сестра и в то же время муж и жена — прошли по высоким равнинам; они взяли с собой золотой клин и им было велено поселиться в том месте, где клин легко войдет в землю. В плодородной долине Куско * случилось чудо — золотой клин сам собой ушел в землю.

От этих двух светозарных существ произошел Инка, и вся страна стала его собственностью.

Вся территория государства * была разделена в целях обработки земли на три части: одна часть для Солнца, другая для государя и третья, самая большая, для народа.

Каждый перуанец, достигнув двадцатилетнего возраста, обязан был вступить в брак, причем община снабжала его жилищем и отводила ему участок земли. Земля каждый год переделывалась, участок увеличивался или уменьшался в зависимости от перемен в составе членов семьи. В первую очередь возделывались поля, принадлежащие Солнцу; затем поля стариков, больных, вдов, — словом всех тех, кто по той или другой причине не мог лично выполнить свою работу; за ними — участки, предназначенные для удовлетворения своих собственных потребностей, причем каждый должен был помогать много-семейному, имеющему малолетних детей соседу. В последнюю очередь обрабатывались поля самого Инки; это выполнялось всем народом сообща, с особой торжественностью. На рассвете раздавался с башни клич к сбору; мужчины, женщины и дети являлись разодетые в свои лучшие одежды и радостно трудились для своего господина, распевая старинные песни. Так мне рассказывали, и так оно и было.

Общественным имуществом были сельскохозяйственные орудия, амбары, посевы и собранный хлеб. Обще-

ственным имуществом был также и скот. Лам стригли в установленные сроки, шерсть сдавали в общественные запасные магазины, и отсюда для каждой семьи назначалось столько сырого материала, сколько ей требовалось для собственного употребления; это количество выдавали женам для пряжи и тканья.

Все обязаны были работать, начиная с ребенка и кончая пожилой женщиной, покуда она не становилась слишком слаба, чтобы работать на прялке. Никому не дозволялось жить в праздности; безделье считалось преступлением.

Общественным достоянием были рудники, плавильни, лесопильни, ветряные мельницы, каменоломни, мосты, дороги, леса, дома, сады. Никто не мог разбогатеть, никто не мог и обнищать. Расточитель не имел возможности промотать свое добро, предаваясь излишествам; не могло случиться, чтобы спекулянт разорил своих детей рискованными предприятиями. Не встречалось нищих, не было любителей пожить на чужой счет. Если чьи-нибудь дела приходили в упадок по несчастному стечению обстоятельств — по собственной вине этого случиться не могло, — государство было готово притти ему на помощь. При этом, оказывая благодеяние несчастливцу, общество не унижало его, а восстанавливало, как повелевал закон, на прежней высоте — на одном уровне с остальными. Люди не знали честолюбия, алчности, не испытывали волнений и болезненного духа недовольства, не знали политических страстей и эгоистических стремлений. Никто не владел никакой собственностью, все принадлежало всем, и все вместе — не только одна земля — было собственностью Инки, этого существа небесного происхождения.

И вот тут возникал головоломный вопрос, была ли это дикость или культура, форма варварского и младенческого существования или высшее состояние? Следовало ли гнушаться таким порядком и поэтому разрушить его, или пощадить, может быть даже признать таким общественным строем, к которому надлежало стремиться? Для нас не могло быть безразлично, имеем ли мы дело с грубыми тупыми рабами — слепыми орудиями в руках тирана, обладающего беспримерной по мощи властью, или с созданиями более благородными и чистыми, чем христианский мир.

Я не мог тогда прямо ответить ни да, ни нет, однако

по зрелом размышлении я все же скорее склонен был думать, что мы имеем дело с гнусными отрицателями тысячелетних установлений, которые нельзя опрокинуть без вреда для всего рода человеческого. Отказаться от собственности — не значило ли это отказаться от наград и почестей, от соревнования и отличий, от стремления возвыситься, от упоения риском, от всего того, что отличает мое от твоего и меня от тебя? Подобная идея чересчур ужасна и нечестива, чтобы к ней отнестись иначе, как с непреклонной решимостью искоренить ее на земле.

Так мне казалось в описываемую ночь, но позже взгляды мои изменились... Я беспокоюсь ворочался на своем жестком ложе, ожидая наступления дня.

7

День начался предательством — это нужно признать — и окончился кровопролитием. Он привел к временному унижению Инки и к вечному — его народа и превратил страну в арену пожаров и убийств. Этого уже не скроешь, следы содеянного сохранились повсеместно еще и сегодня, когда я пишу эти строки.

Звуки труб призвали нас к оружию. Конница была поставлена позади строений, пехота внутри зданий. Проходили часы, и мы уже начинали думать, что наши приготовления были напрасны, как вдруг от Инки прибыло известие, что он находится в пути.

Однако только около полудня перуанцы показались на широком шоссе. Впереди шли многочисленные слуги; на их обязанности лежало очищать дорогу от всяких хотя бы самых ничтожных препятствий — камней, животных, листьев. Атауальпа высоко поднимался над толпой, сидя на троне, который несли на плечах восемь знатнейших саванников; по сторонам шествовало по шестнадцати человек, наряженных в драгоценнейшие одежды.

Трон был из массивного золота; он сиял, как солнце. Справа и слева свешивались коврики, изготовленные с едва постижимым искусством из разноцветных перьев тропических птиц. Многие из нас устремили алчные взгляды на эти дивные бесценные вещи, а самыми жадными из всех, я уверен, были мои глаза. Я не имел сил оторвать их от сверкавших передо мной сокровищ, и сердце мое билось с утроенной силой.

На шее у Инки красовалось ожерелье из изумрудов изумительной величины; в его коротко подстриженные волосы был вплетен венок из искусственных цветов, сделанных из оникса, бирюзы, серебра и золота; он держался с таким спокойствием, что получалось впечатление, будто там на троне восседала фигура из бронзы.

Передние ряды шествия, вступив на площадь, расступились направо и налево, очищая место для царской свиты. При глубоком молчании своих людей Атауальпа окинул площадь недоумевающим взглядом, потому что никого из наших не было видно,— между тем из нашей засады мы могли разглядеть выражение лица каждого из них и малейшие жесты.

Тут, как это было условлено заранее, на площади появился патер Вальверде *, наш походный священник. С библией в правой руке и распятием в левой приблизился он к Инке и обратился к нему с речью. Фелипильо, кравшийся за ним, как тень, роковой и неизбежный, как тень, переводил его слова отдельными предложениями так хорошо или так плохо, как только мог.

Доминиканец призывал Атауальпу покориться императору, который, будучи самым могущественным государем в мире, дал своему слуге Писарро повеление вступить во владение языческими странами.

Инка не шевелился.

Патер Вальверде обратился к нему вторично с тем же призывом, причем прибавил, что буде Инка признает себя данником императора, этот последний примет его под свою защиту как верного вассала и будет оказывать ему помощь во всякой нужде.

И на это последовало такое же молчание.

Тогда монах в третий раз возвысил голос; он обратился к Инке, во имя господ нашего и спасителя, с настойчивым увещанием принять нашу святую веру, через которую он только и мог получить надежду избежать осуждения и не очутиться в аду.

Тут бы нужны были совсем не те слова и не те представления, какими располагал наш патер. Это был человек простой, малообразованный; он не обладал ни даром слова, ни воодушевлением, необходимыми для того, чтобы тронуть сердце идолопоклонника и расположить его к учению христову, которому мы все следуем со смирением.



Инка и на этот раз ничего не ответил. Он сидел на своем троне, неподвижный, как статуя, и смотрел на монаха не то с удивлением, не то с неудовольствием. Патер растерянно уставился глазами в землю, лицо его побледнело, он напрасно подыскивал новые выражения; внезапно он обернулся и поднял распятие как знамя.

Тогда генерал рассудил, что подошло время и дальше медлить не приходится. Он махнул белой перевязью.

Грохнул выстрел из орудия, загремел боевой клич «Сантьяго» *, из засады хлынула конница, как поток, прорвавший запруды. Оторопевшие от неожиданности, оглушенные криками, треском мушкетов и громом обоих наших орудий, ослепленные и задыхающиеся в серном дыму, окутавшем всю площадь, люди Инки не знали, что делать, куда спастись. В своем бурном налете всадники топтали всех без разбора — и знатных и простых, все перемешалось: перед моими глазами был клубок, в котором мелькали красные, синие и желтые пятна. Никому не приходила мысль оказать сопротивление, да у них и не было необходимого для того оружия. В какие-нибудь четверть часа все пути к отступлению были забиты трупам.



Жертв неожиданного нападения охватила такая паника, что многие из них, ища спасения, со сверхчеловеческой силой голыми руками проломили окружающую площадь стены, сложенные из пережженной глины.

Я не могу дать себе даже приблизительного отчета, сколько времени продолжалась эта

ужасная бойня. Ум мой был помрачен видом золотого трона, на котором все еще сидел Инка. Я хотел завладеть им во что бы то ни стало, сверхъестественная сила тянула меня в круг, осиянный его лучами, и я сшибал все, что стояло на моем пути. Верноподданные Инки кидались толпами, чтобы загородить дорогу мне и другим всадникам, стащили несколько человек с седел, подставляли свою грудь под удары, лишь бы спасти обожаемого повелителя. В предсмертных судорогах они все еще цеплялись за наших лошадей, и я все время тащил за собой три-четыре полумертвых тела; как только один из них падал мертвым, его место мгновенно занимал другой.

Трон, поддерживаемый восемью знатными людьми, качался, как челн среди волнующегося моря, подаваясь то вперед, то назад.

Атауальпа смотрел, не двигаясь, на кровавое побоище, с мрачным фатализмом сознавая свое бессилие предотвратить его. За короткими сумерками тропиков спустился вечер. Утомленные бойней, мы опасались одного: как бы Инка не ушел от нас. Андрес де ла Торре и Кривоваль де Перральта стали пробиваться к нему, намереваясь пронзить его грудь мечом. Генерал рванулся как ураган им наперерез: весь его план был построен на сохранении жизни государя. В тот момент, когда он протянул руку, прикрывая Инку, Кривоваль де Перральта нанес ему довольно серьезную рану в сгиб руки. В тот же миг пали сразу четверо из людей, поддерживавших трон; для оставшихся в живых ноша оказалась не по силам: они упали на колени возле целой груды трупов; Инка непре-

менно свалился бы на землю, если бы Писарро и Торре не подхватили его на руки. Солдат Мигель де Эстете * сорвал с его головы царскую повязку, а мы с Перральтой ухватились за трон, он с одной стороны, я с другой: в продолжение десятка ужасных секунд мы глядели друг на друга налившимися кровью глазами, как два смертельных врага.

Атауальпа был отведен пленником в близлежащее здание, и охрана его была вверена караулу из двенадцати человек.

Зловещая тишина воцарилась на площади и на улицах города. А издали, с окрестных гор, с наступлением ночи стали доноситься к нам звуки печальных песен: то перуанцы оплакивали своего божественного царя, и эти звуки то нарастали, то замирали, и с каждым часом все больше слышались в них тоска и отчаяние,— и так продолжалось до самого рассвета.

8

Солдатам было дано разрешение отправиться за добычей: они притащили из стана Инки множество золотых и серебряных вещей, а также немало кусков различных тканей. Эти ткани отличались необыкновенным совершенством выработки и изумительно красивым подбором красок — нам никогда еще не случалось видеть ничего подобного.

Все награбленное добро было сложено в отведенном для этой цели здании, чтобы к назначенному сроку, по выде королевской пятины, приступить к ее разделу.

Трон Инки мы припрятали в укромном местечке — я и Кривоваль де Перральта — с помощью нескольких человек; один из них выдал нас Педро Писарро *, после чего мы были вызваны к генералу и он грозно потребовал от нас выдачи трона. Его требование было исполнено без замедления: мы дрожали перед ним.

Желая вознаграждать себя за эту потерю, я принялся обыскивать вместе с солдатами городские дома, причем мы грабили все, что имело хоть какую-нибудь ценность.

Мы хватали туземцев и срывали с них одежды и драгоценности. В одиночку либо партиями наши люди рассу-

пались по окрестностям, обирали попадавшие на пути жилища и затем предавали их огню. Люди врывались в храмы, избивали либо разгоняли жрецов и забирали с собой, сколько кто мог унести, цветные ткани и ценные сосуды. Но всего этого им было мало: захваченная добыча только еще сильнее разжигала их аппетиты. Меня тоже ничто не могло удовлетворить: я жаждал еще большего.

Однажды вечером, в то время как один из наших отрядов возвращался в город из разбойничьего набега, оказавшегося на этот раз особенно удачным, пленный Инка вышел из внутренних покоев своего дома в колоннаду и наблюдал, как солдаты складывали с себя добычу, как к ним подходили другие, брали в руки золотые и серебряные предметы, показывали их друг другу, ощупывали, прямо-таки ласкали их, и при этом весь их вид выдавал волновавшие их чувства — восторженное упоение, ненасытную жадность и мелочную завистливую тревогу.

Я стоял на площади, и Инка мало-помалу всецело завладел моим вниманием. Мне казалось, что он напрасно силится осмыслить сцену, которая разыгрывалась у него перед глазами. В то время как он напряженно вдумывался в это зрелище, к нему подошел Фелипильо и с униженно лъстивым видом сказал ему вполголоса несколько слов.

Как я узнал впоследствии от Эрнандо де Сото, который слышал это от самого Атауальпы, Фелипильо сказал ему вот что:

— Они хотят золота. Они визжат из-за золота, они поднимают крик из-за золота, за золото они готовы растерзать друг друга. Спроси их о цене своей свободы — и ты можешь купить ее за золото. Ничего нет на свете, чего бы они не отдали тебе за золото, — своих жен, своих детей, свою душу и даже души своих друзей.

Я только догадывался о смысле этих правдивых и страшных слов. Меня поразило в тот момент лицо Атауальпы — выражение отвращения и глубокой задумчивости. Несомненно, именно тогда он неотступно начал думать о том, чему никак не мог поверить, — что за такую ничтожную вещь, какой было в его глазах золото, можно купить такое великое благо, как свободу, что вообще с его помощью можно что-нибудь купить, что-нибудь иметь.

Что-нибудь иметь — для него значило совсем не то, что для нас. Мысль о покупке чего-либо за золото удивляла и беспокоила его до глубины души. В тот час, видя моих товарищей, опьяненных видом золота, и рядом онемевшего изумленного Инку, я впервые ясно понял, до какой степени мы были ему чужды, непостижимо, ужасающе чужды, не как люди, вышедшие из неведомого ему мира, а как существа совершенно иной, необъяснимой природы.

9

И вот в Кахамарку пришли его слуги и служанки, его придворные и его жены и умоляли, воздевая руки к небу, допустить их к своему господину. Они говорили, что их жизнь посвящена Инке с самого их рождения и, в случае разлучения с ним, по законам страны они будут обречены на смерть.

Генерал отобрал из них около двадцати человек, в том числе принца Курака *, — сводного брата Инки, которого тот особенно любил.

Это был красивый и кроткий юноша, походивший на государя лицом и фигурой.

Прочих генерал отослал назад, и, как мы вскоре после того узнали, все они покончили с собой.

Однако приходили еще тысячи других обитателей сел и городов — они хотели поглядеть на своего господина. Их впускали в Кахамарку, удостоверившись, что при них нет никакого оружия. В сущности в этой предосторожности не было никакой нужды. Все эти люди находились в состоянии полнейшей растерянности. Они никак не могли поверить, не могли постичь, что сын Солнца мог сделаться пленником. Они смотрели на нас со скорбным изумлением, дрожали от суеверного ужаса, если кто-нибудь из нас заговаривал с ними. Какая-то сверхъестественная сила, казалось, удерживала их под стенами, за которыми томился Инка. Одни рыдали, другие только молчаливо вздыхали, иные стояли на коленях, стиснув руками голову. А ночью я видел, как их глаза светились во мраке, в то время как с горных высот доносились жалобные напевы.

Все государство погрузилось в скорбь и отчаяние.

Начиная с шестого дня генерал передал мне охрану Инки, причем для выполнения этой важной обязанности я принял командование над караулом из пятнадцати надежнейших воинов.

Теперь я получил возможность наблюдать пленника в любое время и в непосредственной близости. Инка же не уделял мне ни малейшего внимания; только к одному из нас он, казалось, почувствовал нечто вроде расположения, а именно к Эрнандо де Сото, который ввиду этого имел к нему свободный доступ во всякое время. Генерал смотрел на их сближение благосклонно, рассчитывая таким образом получить возможность быть в курсе настроений и намерений Инки. Сото немало с ним повозился; между прочим, он старался познакомить Инку с нашим языком, ему хотелось добиться, чтобы пленник понимал его,— и старания Сото не остались без результатов.

Атауальпа проводил ночи почти без сна, сидя на каменных плитах пола с поджатыми под себя ногами. Создавалось впечатление, будто он дорожил каждым своим шагом, каждым движением своей руки. Из блюд, какие ему подавались к столу, он брал ровно столько, сколько было необходимо для поддержания жизни. Своим женам он не подарил ни одного взгляда. С одним только принцем Курака он время от времени беседовал вполголоса.

Генерал намеренно окружал своего царственного пленника знаками уважения и старался разогнать уныние, проглядывавшее на лице Атауальпы при всем его притворном равнодушии. При появлении генерала Инка вставал и обращал на него выжидающий, вопросительный, пламенный, холодный взгляд.

Однажды Писарро через переводчика стал убеждать его не падать духом из-за случившегося с ним несчастья; ведь Инка разделял участь всех государей, оказавших сопротивление христианам; за это он и понес небесную кару; но испанцы — народ великодушный и милуют тех, кто покоряется им с чистосердечным раскаянием.

Тут я заметил — это не укрылось и от внимания генерала,— как Инка принялся внимательно рассматривать золотую пряжку на своей обуви и при этом по губам его пробежала та странная усмешка, о которой я уже упоми-

нал. Вслед за этим он приподнял левую руку, а стоявший подле него принц Курак опустился на колени и с благоговением прикоснулся дрожащими губами к его полурасогнутым пальцам.

11

Чтобы не нарушить последовательного хода событий, я должен здесь рассказать, как принц Курака подвергся насилию со стороны одного из моих солдат и что при этом случилось.

Было раннее утро; юноша собирался выйти из колоннады, чтобы принести своему господину фруктов, которых тому захотелось поесть. Солдат Педро Алькон, стоявший на часах, отказался его пропустить; когда же Курака стал при помощи жестов объяснять, в чем заключалось его намерение, Алькон схватил его за плечи и грубо оттолкнул назад. Курака вспыхнул и в гневе ударил его кулаком по лицу. Тогда Алькон извлек меч, а перепуганный Курака обратился в бегство. Солдат погнался за ним с грозными криками, намереваясь смыть оскорбление кровью.

Я только что проснулся и, услышав шум, поспешил в помещение Инки. Еще издали я заметил, что Инка смотрит все время в одном направлении. Взглянув в ту сторону, я увидел принца, мчавшегося вихрем по внутренним покоям. Комнат, по которым пробежал испуганный юноша, было так много, что в тот момент, когда я его увидел, фигура Кураки казалась мне издали совсем маленькой. Не издавая ни звука, вскинув кверху руки, он бежал с легкостью оленя сквозь длинный ряд комнат, а за ним гнался неуклюжий солдат с обнаженным мечом в руке, тяжело стуча сапогами. Добежав, наконец, до своего повелителя, Курака упал к его ногам и обнял его колени. Педро Алькон, запыхавшись и с пеной у рта, хотел схватить юношу; я крикнул ему, чтобы он опомнился; он не обратил внимания на мои слова, бросив лишь на меня злобный взгляд. Тогда Атауальпа прикрыл левой рукой голову брата, а правой оттолкнул рассвирепевшего солдата. В этом движении было столько царственного величия, что Алькон оторопел, но на один лишь миг. В следующее мгновение, разразившись проклятиями, он взмахнул мечом, и прекрасному юноше пришел бы конец, если

бы две рабыни не бросились вперед и не заслонили его своими телами в решимости принять удар на себя. Одна из них, пораженная в шею, тут же упала, не издав ни звука и обливаясь кровью.

Алькон остановился. Его взгляд встретился со взором Инки и требовал с кровожадным и дерзким упорством жизни принца. Здесь я должен отметить, что в эту пору наши люди, сознавая себя обладателями неисчислимых богатств в будущем, находились в самом мятежном настроении, и чтобы удержать их в повиновении, мы, офицеры, пользовались своим правом раздавать приказания с величайшей осмотрительностью.

Все еще прикрывая левой рукой голову своего любимца, Атауальпа правой рукой снял со своей одежды золотую застежку и протянул ее Педро Алькону. Я заметил в этом движении какую-то неуверенность, нерешительность, как будто он сам не верил в успех, не надеялся на него.

Алькон взял украшение, взвесил его на руке и пожал плечами. Инка сдернул с левого рукава массивный золотой браслет и подал его солдату. Тот снова взвесил его и, поджав губы, смотрел перед собой в видимой нерешительности. Тогда с несвойственной ему в другое время поспешностью Атауальпа сорвал со своей шеи изумрудное ожерелье и кинул ее в нагло протянутую ладонь солдата. На этот раз Алькон остался доволен; кивнув головой, он спрятал драгоценность под кожаную куртку и вложил меч в ножны.

Атауальпа глядел на него ошеломленный, как будто бы на его глазах призрак становился реальностью. Ведь ему сейчас было дано доказательство, что за золото у пришельцев можно купить жизнь. А это казалось Инке столь чудовищным, что он еще долго стоял в мрачном недоумении, и даже речь его любимца не была в силах рассеять его думы.

12

В тот же день генерал посетил Атауальпу в сопровождении нескольких рыцарей, чтобы извиниться перед ним за утреннее происшествие. Он обещал произвести беспристрастное расследование и покарать виновного. Тут, с трудом подыскивая слова и запинаясь, Инка заявил

нам при посредстве Фелипильо, что он обязуется выстлать золотом весь пол того зала, в котором мы беседовали, если мы возвратим ему свободу.

Генерал и мы выслушали эти слова в молчании. Не получая никакого ответа, Атауальпа прибавил более решительным тоном, что он готов не только устлать пол, но и наполнить комнату золотом на такую высоту, насколько хватает его рука.

Мы усталились на Инку в изумлении, считая его предложение простым хвастовством со стороны человека, которому слишком не терпелось получить свободу, чтобы он стал взвешивать выполнимость своих посулов. Генерал отвел нас в сторону — ему хотелось выслушать наши мнения.

Его брат Эрнандо * и секретарь Херес * были склонны отклонить предложение, Сото и я советовали принять его. Сам генерал в первые минуты был в нерешительности. Он имел высокое представление о богатствах страны и, в частности, о сокровищах столицы Куско, где, по надежным сведениям, кровли храмов крылись золотыми листами, стены были обтянуты золотыми обоями и даже кирпичи делались из золота. «Подобные слухи имеют же какое-то основание», — думал он. Во всяком случае следовало принять предложение Инки с тем, чтобы одним ударом заполучить все золото и не дать перуанцам припрятать его либо увезти.

В силу этого генерал сказал Атауальпе, что согласен дать ему свободу, если он действительно представит столько золота, сколько наобещал. Генерал потребовал кусок красного мела; ему принесли, и он провел по всем четырем стенам черту на высоте, указанной Инкой. Покой имел в ширину тридцать семь футов, в длину пятьдесят два, а красная черта на стене проходила на высоте девяти с половиной футов от пола.

Все это пространство нужно было завалить золотом. Для этого Инка потребовал два месяца времени. Условия были записаны секретарем Хересом и к документу приложили печать:

Переговоры и заключение договора так нас взволновали, что когда мы беседовали о происшедшем, у нас срывался голос, а лицо горело, как в лихорадке. Мы сомневались; сомнения были перемешаны с тревогой и пламенной надеждой.

Новость тотчас же распространилась по лагерю; солдаты метались от радости как полоумные, предавались самым фантастическим мечтам о будущем, лишились сна; игра и другие развлечения потеряли для них всякий интерес. То же самое переживал и я.

13

Едва было подписано соглашение, как Инка разослал по всем городам своего государства гонцов с повелением забрать золотую утварь и сосуды из царских дворцов, храмов, садов и общественных зданий и без промедления доставить все это в Кахамарку.

Расстояния были очень велики, но они не создавали таких затруднений, как в наших землях, благодаря остроумно организованной связи при помощи скороходов. В первое время посылки поступали в ограниченном числе. Но уже через неделю они стали прибывать в значительном количестве, возраставшем изо дня в день, и все это складывалось в зале, который находился под моей строжайшей охраной.

Каждый вечер Инка останавливался на пороге того помещения, где хранилось золото, свезенное из всех областей его царства; он измерял спокойным взглядом еще свободную площадь стен и, казалось, вычислял, сколько недостает золота до красной черты, которая определяла его судьбу. Но как много ни притекало за день блестящего металла, масса его, казалось, росла очень медленно.

Поднимая глаза от края золотой массы к этой неумолимой черте, он как будто старался рассчитать, сколько дней отделяет его от свободы. А вокруг Инки стояли безмолвные и печальные слуги и служанки и читали на любимом лице то, чего не мог выразить язык. Ведь у этих людей не было слов для обозначения многого такого, что мы, созданные совсем иначе, умели выразить без труда и что тем не менее не имело никакого содержания.

Мне трудно передавать мои собственные впечатления, а еще труднее при попытке изобразить переживания Атауальпы — те чувства, какие таились в глубине его души и о которых я лишь смутно мог догадываться. Удивительные свойства его личности с каждым днем, с каждым часом все сильнее смущали меня и тревожили. В чем

тут было дело, я не знаю. Какое-то неясное чувство твердило мне, что на мне лежит долг проникнуть в его внутренний мир и дать себе отчет в том, что творится в глубине его души. В его присутствии я невольно ощущал трепет: меня поражала, если можно так выразиться, необыкновенная человечность этой личности; в нем чувствовалась какая-то необычайная чистота, что-то загадочное, невыразимое словами и до того нежное, чувствительное, что жутко было к нему прикоснуться, нечто такое, от чего я не мог отвести очей и что словно и на меня отбрасывало свою скорбную тень.

Сначала я считал его только властелином золота, могучим и роковым, погрязнувшим в гибельном язычестве, отданным на произвол нечистых духов; и я не спрашивал себя, по какому праву я-то его осуждаю. Ведь и мои взоры привлекало одно только золото, при взгляде на золото меня корчило, как будто меня отравили жгучим ядом. Мой мозг возбуждался одним только золотом, блеском золота и предвкушением золота и тех чувственных наслаждений, какие оно приносит. Но затем меня с удивительной силой потянуло к этому человеку. Я считал это влечение то проклятием, то внушением свыше, или же мне казалось, что оно порождено угрызениями совести и грустью. Иногда мне казалось, что во мне слилось два человека, что Инка и я составляем одно целое; и золото привлекло меня, и его душа привлекла меня.

Но как можно все это высказать?

Для меня было ясно, что не одна забота о золоте поглощала его внимание, не одно наблюдение за нарастанием золотой массы. Его угнетало, мучило и другое — наше присутствие, наша сущность и поступки. В этом я мало-помалу вполне убедился. Началось у него с простого любопытства; язык и звуки голоса, походка и жесты, способы выражения гнева и радости, одежда и нравы — все в нас было ему до того чуждо, что у него захватывало дух, все было недоступно его пониманию, как иной, не подсолнечный мир, презренный и зловещий — то и другое в сильнейшей степени, и он не был в состоянии отделить достойное презрения от зловещего. Когда ему случалось взглянуть на наши лица, словно обтянутые дубленой кожей, или когда на нем останавливался взгляд кого-нибудь из нас — бесцеремонный и наглый взгляд, он вздрагивал, как от нечистого прикосновения.

Когда же в доме появилось золото и мы все — от вождя до последнего солдата — принялись жадно следить за его накоплением, тогда мы стали внушать ему ужас и отвращение, и эти чувства обострились до того, что, заметив одного из нас, он закрывал глаза. Это правда, я сам это видел.

Много наших людей теснилось к окну, огражденному решетками, заглядывая в дом остеклевшими глазами. Они чуяли запах золота, ощущали его вкус; я это понимал: то же самое было и со мной. Иной раз кому-нибудь из них удавалось пробраться к порогу помещения и бросить украдкой взгляд на груды сокровищ, сверкавшие желтым блеском, и тогда его лицо искажала гримаса, придававшая ему страшное выражение — не то нежности, не то голода; рука его проделывала хватющие движения, а глаза бегали по сторонам, как будто он боялся, не предупредил ли его кто-нибудь другой. Каждый из них опасался, как бы другой его не предупредил; то же было и со мной.

Нередко я замечал, как по ночам, когда его приближенные спали, Атауальпа сидел выпрямившись и к чему-то прислушивался. И в самом деле, у дома всегда слышались шарканье и шелест, шорох и глухое бормотание; если случайно проглядывал месяц и золото загоралось в его лучах, можно было разглядеть у окна глаза, широко раскрытые судорогой страсти; в них было тусклое отражение блеска золота, смешанного с лунным светом; люди эти напоминали зверей, когда те крадутся к водопою потаенными тропами, боясь других более сильных зверей.

Однажды Хосе Мария Лопес, пожилой солдат с седой бородой и многочисленными рубцами на лице, схватил в руки тяжелый золотой кирпич; беспредельное изумление и безумная радость исказили его побледневшее лицо. Это было в сумерки; он снял обувь и прокрался в зал босой; один из товарищей подозрительно подсматривал за ним: он неслышно последовал за солдатом, бросился на него с сильным криком и вцепился ему в горло обеими руками, так что Лопес захрипел и свалился на землю.

В другой раз несколько человек повстречали перуанца-носильщика, прибывшего с грузом золотой посуды; ставив ношу с его спины с такой яростью, словно хотели сорвать ее вместе с кожей, они считали и пересчитывали,

взвешивали и ощупывали каждую вещь дрожащими пальцами и смотрели друг на друга, как волки.

Так Атауальпа дошел до сознания, что золото действует на всех нас гораздо зловреднее, чем на его народ одурманивающая чича, употребление которой было дозволено только в определенные религиозные праздники. Но при этом он должен был сказать себе: пить этот желтый металл они не могут, они могут только услаждать свои взоры его блеском и цветом; что же оно им дает? что им сулит? Они не украшают себя золотом, тела их, как бесплотные тени, лишены всяких украшений; какая же польза им от того, что они владеют золотом?

Несомненно, он должен был иметь подобные мысли. Впрочем, он и сам их высказал с удивительной глубиной в беседе с Эрнандо де Сото. Инка выразился приблизительно в таком смысле, что у нас нет того беззаветного повиновения, той врожденной покорности, которая заставляет видеть в вожде небесного избранника — солнце в образе человека. Если мы и покоряемся нашему господину, мы делаем это поневоле, подавляя свою строптивость, заглушая злобу, как будто мы имеем равные с ним права и одинаковые притязания на все земные блага, и если не отваживаемся восстать против него, то единственно из опасения, что ему, может быть, известны такие пути или такие волшебные формулы, которые нам недоступны. Почему, спрашивал Инка с изумлением, потупляют они глаза в лицемерном смирении перед лицом вождя, а едва он отвернется, нагло поднимают их и дерзко преследуют его своими взорами?

Эрнандо де Сото не находил ответа на подобные вопросы и не скрывал от меня, что ему приходилось стоять перед Инкой с жалким лицом потерявшегося школьника. А я с каждым днем все лучше понимал душевное состояние Инки: смотря на вещи его глазами, я увидел возрастающее нетерпение моих товарищей, выражение взаимной ненависти и тревоги. Мне стало ясно, что никогда самый страшный кошмар не мог дать Инке и отдаленного представления о том, что на свете существуют создания, подобные нам. Когда же он в этом убедился и столкнулся с такими созданиями, его охватила беспредельная грусть, которая сломила его душу и тело; вот причина того, что казалось нам неразрешимой загадкой, — что он отдался своей участи без сопротивления, что он не посылал ника-

ких тайных приказов своим подданным и что сотни тысяч вооруженных воинов оставались в бездействии — целая армия любящих его людей, для которых государь был центром и конечной целью их существования, между тем как Инке стоило только двинуть бровью, и три сотни проходимцев напоили бы своей кровью поруганную землю.

Бездействие войска зависело от Атауальпы, от его глубокой уверенности, что наступило господство духа тьмы и сопротивляться ему бесполезно. Я хорошо знаю, что говорю, принимаю на себя ответственность за сказанное и готов отстаивать справедливость своих слов против всякого, кто бы вздумал потребовать меня как христианина к ответу за такие речи: то, что разлилось по стране наподобие моровой язвы, разве имело что-нибудь общее с духом христианства и христовым учением, с нашей великой верой и святым ее символом? Страна была поражена недугом, души ее обитателей были больны, отвращение и ужас омрачали их, отвращение и ужас распространялись от мозга костей страны, от Атауальпы, ее главы и воплощения; он должен был оставаться безмолвным зрителем того, как чужеземцы грабили храмы, бесчестили посвященных Солнцу дев, опустошали сады, топтали поля — его преемственные священные владения, принадлежавшие его роду на протяжении тысячелетий. А он не мог противодействовать: мир стал нечистым, и это сознание сообщилось его народу и возвращалось к Инке обратно, как эхо, в ночных напевах, в которых слышались безутешная тоска и предчувствие грядущей гибели.

14

Инке доставили шарообразный опал, принадлежавший его любимой сестре и супруге, Уоко, жившей на острове среди озера Титикака *. Уоко велела ему передать через подателя камня, что она приготовилась к смерти и только ожидает его приказа.

Он долго безмолвно смотрел на великолепный камень, в то время как слуги и молодые женщины потупили взоры.

Ему привели также прирученную пуму, постоянно лежавшую бывало у его ног в садах царского дворца. Зверь тосковал, отказывался от пищи и на третий день околел.

Вечером того же дня принц Курака был найден мертвым в одной из комнат с кинжалом в груди. Никто из нас

не сомневался, что Педро Алькона, чья злоба еще сильнее разгорелась после наказания, наложенного на него генералом, еще не удовлетворил своей жажды мести, несмотря на полученный от Инки богатый выкуп. Однако непосредственного убийцу никто не выдал и не изобличил.

Атауальпа смотрел на труп так же, как на опал. Его скорбь походила на улыбку.

На равнине с тридцатью тысячами человек стоял Калькучима*, старейший военачальник Инки. Пленение его государя, выполненное так неожиданно, посредством грубого насилия, какими-то неведомыми существами, которые казались ему свалившимися с облаков, совершенно расстроило старика. Добиваясь свидания с ним, наш генерал приглашал его приехать в Кахамарку. Он отклонил приглашение. Тогда Писсаро добился приказа Инки,— и Калькучима немедленно же тронулся в путь. Он прибыл в город в сопровождении многочисленной свиты. Подчиненные несли его на открытых носилках, и горожане оказывали ему знаки почтения, на которые он имел право, как первый слуга царя. Сам же он, при посещении Атауальпы, приблизился к царю босой, как самый ничтожный из его подданных, с камнем на спине — эмблемой безграничной покорности. Он упал на колени, облобызал руки и ноги своего государя и залился слезами.

Я был свидетелем этого свидания и не могу отрицать, что оно меня растрогало. А на лице Атауальпы я не заметил ничего — даже признака радости по случаю свидания с самым преданным своим советником. Он просто поздоровался со стариком, затем, не сказав ни слова, протянул ему прекрасный опал, присланный его сестрой и супругой. Это означало смертный приговор для Уоко — и старый Калькучима, убитый горем, зашатался, зарыдал и удалился при поддержке своих слуг.

15

Тем временем обнаружилось, что переводчик, веротступник Фелипильо, увлекаемый все дальше по пути измены, в порыве плотской страсти позволил себе посягнуть на одну из молоденьких жен Инки. В прежнее время он и во сне не осмелился бы помыслить о подобном деле; это было самое ужасное преступление, какое только мог совершить перуанец. Атауальпа сказал генералу, что

подобное поругание, учиненное таким ничтожным человеком, для него тяжелее самого плена. Он был бледен от негодования, когда говорил это.

После этого случая озлобление Фелипильо против своего некогда всемогущего повелителя перешло все границы, и он вознамерился окончательно его погубить. Фелипильо обвинил его перед генералом в заговоре с Калькучимой, который должен был напасть на испанцев и истребить их всех до последнего человека.

Свою клевету он подкрепил самыми страшными клятвами.

Более расположенный довериться доносчику, нежели доверяя ему в действительности, Писарро принял его слова к сведению. Донос открывал ему путь, которым он мог уклониться от выполнения рискованного обязательства, касавшегося освобождения государя, и он решил нарушить договор, безразлично, посредством ли насилия или коварства.

16

Когда масса выданного нам золота увеличилась настолько, что недоставало всего около трех ладоней до красной черты, не стало никакой возможности сдерживать нетерпение наших людей; они решительно приступили к генералу с требованием разделить сокровища. А ему такое требование было на руку, потому что облегчало выполнение его темных замыслов.

Впоследствии Эрнандо де Сото и я не могли отказаться даже от подозрения, что нетерпение нарочно разжигалось среди наших людей.

В целях справедливого и равномерного распределения было принято решение расплавить все золото и превратить его в слитки; добыча наша состояла из бесконечно разнородных предметов, изготовленных из



золота весьма различного достоинства.

Уже на следующий день хранилище было опорожнено, причем принимались самые тщательные меры к охране драгоценностей. Вслед за тем генерал призвал несколько местных золотых дел мастеров; согласно данному им распоряжению, все чудесные сосуды, блюда, кубки, кувшины, столовая посуда, подносы, вазы, подсвечники, храмовая утварь, плитки, пластинки, курильницы, идолы, браслеты, маски, все стенные украшения,



колонки, цепи, знаки религиозного сана — все эти изделия, нередко высокой художественной ценности, были расплавлены и превращены в слитки.

В числе других вещей особенно врезался в мою память сделанный из золота фонтан; он выбрасывал кверху искрометный золотой луч, а по краям воды, воспроизведенной из золота с поистине волшебным искусством, казалось, играли золотые птицы и ящерицы. Таким образом, мастерам приходилось своими руками разрушать то, что они сами создавали с такой любовью и старанием; они трудились день и ночь, но золота было так много, что после целого месяца работы им все еще не удалось расплавить всей массы металла.

Между тем с морского побережья, из Сан-Мигеля, прибыл долголетний соратник и друг генерала, дон Альмагро, вместе со своими людьми. Они потребовали, чтобы мы поделили с ними сокровища *, и притом с таким наглым вызовом, как будто мы были их крепостными. Разгорелись споры, вспыхнула ярким пламенем взаимная вражда, улицы, дворы, дома и палатки огласились криками и звоном оружия, зависть и корыстолюбие отравили все души; даже по ночам люди засыпали тревожным сном.

В вечерний час Атауальпа вышел на порог своей тюрьмы и смотрел на площадь затуманенным взором.

Я стоял на ступенях лестницы подле него.

На плечах его был плащ из шкурок летучих мышей, мягкий и гладкий, как шелк, а голова была повязана

льяуту — родом шали из тончайшей ткани необычайно яркой окраски.

Как раз в это время вспыхнула жестокая ссора между двумя солдатами — один был из нашего отряда, другой из числа людей Альмагро — из-за золотой черепахи; обоим хотелось вытащить ее из плавильни и каждый желал завладеть ею. Тотчас же они обнажили мечи; два удара, вскрик — и тот, кто принадлежал к нашей партии, по имени Хакопо Куэльяр, лежал на земле, но и в предсмертных судорогах не выпускал зажатую в кулаке черепаху и отталкивал, уже окутанный смертной тьмой, хищные руки, которые тянулись к черепахе. Я оттащил убийцу.

Сцена привлекла внимание Инки с неодолимой силой. Стража подозрительно обступила его, но он не замечал ее. Он пристально всматривался в труп, глаза его потемнели и имели такое выражение, как будто ему страстно хотелось проникнуть взглядом в грудь мертвеца, как за стекло, и удостовериться, из какого материала была сотворена непостижимо чуждая для него душа этого человека. Затем я видел, как Инку охватил ужас: переведя глаза на немногих последовавших за ним слуг, он сказал им еле слышным, прерывающимся голосом, указывая на неподвижное тело:

— Смотрите, золотая черепаха пьет его кровь.

В ту пору я уже настолько научился его языку, что мог понять эти детски наивные, но страшные слова.

17

Наконец, наступил день, когда он потребовал у генерала свободы, ссылаясь на то, что им выполнены все условия заключенного с нами договора.

Да, он требовал свободы, хотя и чувствовал, что освобождение его будут всячески задерживать, хотя в нем уже зарождались и еще более черные подозрения.

Эрнандо де Сото, все более завоевывавший доверие пленника и оказывавший ему немало мелких услуг и одолжений, явился его посредником у генерала. Писарро его выслушал, но медлил дать какой-нибудь определенный ответ. Только по прошествии нескольких часов он велел передать Инке через казначея Рикельме, прибывшего к нам вместе с доном Альмагро, что выкуп не выплачен

полностью,— помещение не было заполнено вплотную до самой красной черты.

Атауальпа выразил по этому поводу свое удивление и возразил — как это и отвечало действительности,— что если положенный предел не был достигнут, то в этом не было его вины: стоило бы обождать еще каких-нибудь три дня, и все следующее золото было бы налицо; впрочем, для него нет ничего легче, как доставить все недостающее количество.

Генерал пожал плечами и сказал, что на это он пойти не может. Он знал, в чем дело: из городов все еще прибывали посылки; их не допускали в Кахамарку.

Писарро распорядился составить и публично обнародовать в лагере объявление, согласно которому освобождал Инку от всяких дополнительных обязательств по уплате выкупа, но тут же прибавил, что безопасность его и его войска требует, чтобы Атауальпа оставался в плену до тех пор, пока не подойдут подкрепления из Панамы.

Услышав о таком коварном обходе договора и прочитав упомянутый манифест, Сото отправился к генералу, и у них произошло бурное объяснение. Генерал сказал, что располагает точными сведениями об интригах Атауальпы, о его тайных сношениях и что солдаты, особенно люди Альмагро, требуют его смерти.

Сото пришел в изумление. Он клялся в лживости подобных слухов, называя людей Альмагро шайкой головорезов и разбойников с большой дороги. Уступая с кажущимся добродушием неотступным настояниям Сото, генерал согласился вместе отправиться к Инке и с глазу на глаз открыть, в чем его обвиняют. Сото утверждал, что на самом его лице можно будет прочесть, справедливы ли эти обвинения или нет, так как Инка абсолютно неспособен притворяться.

В сопровождении Сото генерал вошел в комнату Атауальпы — это было в пятом часу пополудни — и сообщил о дошедших до него тревожных вестях.

«...Какое предательство подготовил ты против меня,— сказал он мрачно,— против человека, который доверял тебе как брату?..»

Проходя через переднюю комнату, Сото сделал мне знак, чтобы я последовал за ним, и в эту минуту я стоял позади генерала, как раз напротив Инки.

«Ты шутишь,— возразил Инка, который вряд ли когда чувствовал это братское доверие,— ты ведь постоянно шутишь со мной. Каким образом могло бы мне и моему народу притти на мысль причинить вам вред? Как могли бы орлы, как бы они ни были отважны, возмечтать о том, чтобы восстать против молний и землетрясений? Прошу тебя, не шути со мной так».

Он сказал это вполне спокойно и естественно, но с легкой усмешкой, а Писарро увидел в этом доказательство его коварства; он произнес это на нашем языке, на котором в течение долгих месяцев своего заключения, находясь в сношении с Сото, со мной и с другими рыцарями, он лучше научился говорить, нежели я или кто другой из нас на его языке.

«Разве я не беззащитен в твоих руках? — продолжал он своим тихим, вдумчивым голосом,— как бы мог я питать те замыслы, что ты мне приписываешь, когда при их осуществлении я же и пал бы первой жертвой? Ты плохо знаешь мой народ, если воображаешь, что он способен поднять восстание без моего приказа, когда в моем царстве и птица не осмелилась бы полететь без моей воли».

Этот удивительный пример кичливости, трагически наивной в настоящем положении, невольно привел нас в смешливое настроение, а его приближенные безмолвно упали на колени. Здесь еще раз подтвердилось мое наблюдение, что Инка почитался своими подданными больше, чем другой государь на земле; его власть простиралась на самые сокроенные поступки, даже на мысли каждого из них. Ему должно было казаться, что все законы, управляющие жизнью человечества, потеряли свою силу, что нарушены все законы природы и весь естественный порядок вещей, если он мог быть брошен на произвол горсти чужеземцев, тех злобных призраков, какими мы ему представлялись,— он, без чьей воли ни одна птица не смела полететь в его царстве.

Генерал дал понять Атауальпе, что будет иметь суждение относительно его участи, и оставил помещение.

Ночью Эрнандо Сото получил приказание выехать с пятьюдесятью всадниками в горы на разведку. Не могло быть никаких сомнений, что это было придумано с целью удалить его на ближайшие дни из Кахамарки. Но не подчиниться приказу начальника он не мог. И Сото уехал во главе своего отряда, мучаясь тяжелыми предчувствиями.

Теперь я хочу рассказать в самых коротких словах, как был вынесен Инке смертный приговор.

В девятом часу утра генерал пригласил в дом Инки на совещание дона Альмагро, дона Рикельме, Андреса де ла Торре и Алонсо де Молина.

Сам Инка сидел в передней зале молча, окруженный своими приближенными и женами, а в некотором отдалении расположилась кольцом его стража.

В десятом часу в зале появился Алонсо де Молина и позвал Инку. Те же лица, которые только что участвовали в обсуждении вопроса, можно ли возбудить обвинение, выступили в роли судей. Некто Антон де Каррион, беглый студент, был назначен защитником.

Главным свидетелем обвинения выступил Фелипильо. Показания его были занесены в протокол, причем судьи не дали себе труда произвести какое-нибудь расследование в целях проверки справедливости этих заявлений. Генерал предложил лишь Фелипильо присягнуть перед распятием — и он принял присягу.

Атауальпа стоял перед судом безмолвно, подобный бронзовой статуе; оправдываться он стыдился.

Показания свидетелей-перуанцев, выслушанные судьями в фальсифицированном переводе Фелипильо, видимо, подтверждали все то, что судьям хотелось подтвердить.

Атауальпу признали виновным, и был вынесен приговор, что он подлежит сожжению живым на главной площади Кахамарки вечером того же дня.

Подозрительная торопливость, проявленная генералом, объясняется тем, что он боялся больше всего возвращения Эрнандо де Сото, хотя мне так и не удалось себе уяснить, почему это так его тревожило. Правда, Сото отличался твердым и честным характером и принадлежал к влиятельному, могущественному роду; но, кроме неудач и смерти, чего еще мог бояться Франсиско Писарро?

Считаться с моей ничтожной особой у него не было никаких оснований, хотя он, быть может, и знал мои взгляды на это дело; правда, я не льстил ему, подобно

окружавшим его краснобаям, и не мог заставить себя превозносить каждый его поступок, но самой природой я был обречен на роль молчаливого зрителя: я заика, заикаюсь и сейчас, а в ту пору слово давалось мне с бóльшим трудом, чем в настоящее время. Притом все, что я видел и переживал, должно было пройти множество каналов, прежде чем достигнуть моего сознания и осветиться в глубине сердца.

В этом выступлении против Инки было желательно заручиться ясно выраженным одобрением патера Вальверде. Монаху предъявили приговор для подписи. Я присутствовал при том, как он читал этот документ. Глаза монаха неуверенно бегали по страницам, он проставил под документом свое имя рядом с начертанными генералом тремя крестами и сказал с мрачным спокойствием:

— Он должен умереть.

Тридцать лет промчалось с того дня, и можно было бы ожидать, что эта картина потускнеет. Однако этого не случилось. Напротив, все лица, все краски так же отчетливо, так же ярко встают передо мной, каждое слово с прежней болью отзывается в моем сердце. Да и что могут значить тридцать лет? Протекут триста, протекут три тысячи лет, покроют прошлое прахом и илом, а это ужасное дело не изгладится из неумолимой памяти человечества, как не изгладилось оно из моей. В этом я убедился в годы моего затворничества.

20

Атауальпа удалился из зала суда, а немного спустя он велел просить генерала отсрочить казнь до следующего утра, так как он хотел умереть перед лицом восходящего солнца. Дон Альмагро и некоторые другие возражали, однако генерал согласился на просьбу государя. Вместе с тем он принял все возможные меры предосторожности на случай нападения перуанцев, которые в самую последнюю минуту могли рискнуть на попытку спасти своего царя. За несколько последних дней замечалось какое-то необычайное движение на больших дорогах и в горных долинах. Ввиду этого был отдан приказ усилить караулы и зарядить полевые орудия.

Не один я был настроен против смертного приговора; в нашем стане у меня были единомышленники, и притом

не такие молчаливые, как я. Они отвергали улики, на которых суд основал свое решение, признавая их необидительными либо недостоверными, и, кроме того, отрицали компетентность подобного суда над царствующим государем на территории его же государства. Но у огромного большинства наших людей их доводы ничего не вызвали, кроме раздражения, и опять вспыхнули ссоры, на площадях и улицах снова зашумели бешеные крики и зазвенело оружие.

Инка осведомился у меня, что означает весь этот шум. У меня не хватило духу открыть ему правду. Он сидел посередине комнаты на корточках с оковами на ногах. После оглашения приговора они сочли нужным таким унижительным способом стеснить его свободу. Кругом, как безмолвные призраки, сидели его приближенные. Он, видимо, находился в беспокойстве, время от времени он поднимал голову, словно что-то высматривая. Уже долго спустя после полудня вошел гонец, что-то прошептал, растянулся ничком на полу и застыл в таком положении. Через час появился другой гонец, еще через час — третий. Они, очевидно, сообщали о поручении, исполнение которого Инка принимал очень близко к сердцу, потому что с каждым новым таинственным докладом царь постепенно успокаивался и лицо его прояснялось. Инка ожидал прибытия своих предков. В этом и заключалась причина того движения, какое мы наблюдали в стране в продолжении нескольких дней. В предвидении, в ясном предчувствии своей участи, Атауальпа уже за много дней до этого дал знать в великий храм Солнца в Куско, чтобы его умершие предки пришли к нему, так как сам он был лишен возможности прибыть к ним и справить по себе тризну, как это делал каждый Инка, когда чувствовал приближение смерти. Для них расчищались дороги, к их встрече готовился народ во всей стране.

21

В шестом часу Атауальпа выразил желание переговорить с генералом.

Писарро явился, сопровождаемый своим братом Педро и угрюмым доном Альмагро.

Несколько времени Атауальпа растерянно глядел перед собой; затем он внезапно поднялся и воскликнул:

— Что такое я сделал, что сделали мои дети, что меня должна постигнуть такая участь, да еще из твоих рук? Неужели ты забыл, с каким добросердечием и с какой доверчивостью отнесся к тебе народ мой? А я сам, неужели я недостаточно доказал тебе мои дружественные чувства?

Генерал молчал.

И тут Атауальпа, этот гордый из гордых, сложил руки и стал умолять о даровании ему жизни. Говорил тихо-тихо, сжимая губы, с поникшей головой, с погасшим взором. Его слов я уж не помню, только облик его стоит передо мною, как живой,— неизгладимый и незабвенный. Многие утверждали, будто Франсиско Писарро был так растроган, что не мог сдержать слез. «Я сам,— говорит его брат Педро¹ в одном письме,— видел, как генерал плакал».

Что касается меня, то я не видел ничего подобного. Ведь Инка не нашел у него отклика. Кто растроган и плачет, тот, надо полагать, сознает свою неправоту. А я не видел ничего подобного.

Когда Атауальпа убедился, что бессилён поколебать решение генерала, его охватил мучительный стыд за свое самоунижение. Он сложил руки крестом на груди и погрузился в глубокую думу.

22

Томительное молчание тянулось довольно долго. Потом Атауальпа неожиданно обратился ко мне и сказал на своем ломаном испанском языке, что он слышал об удивительном искусстве письма, которым мы владеем, и хотел бы видеть, как мы это делаем.

Я осведомился у него, чего собственно он желает; тогда он попросил, чтобы я написал какое-нибудь слово на ногте его большого пальца, и пусть мои товарищи прочтут написанное и каждый скажет ему потихоньку — так, чтобы ему одному было слышно, что именно я написал. Если все назовут ему одно и то же слово, в таком случае у него не будет сомнений, что мы действительно владеем этим искусством.

Я не сразу сообразил, как мне исполнить его затею, казалось бы так мало отвечавшую моменту и обстоятель-

¹ См. примечание к стр. 17.



ствам. Впрочем, моя нерешительность была непродолжительна. Отцепив с одежды булавку, я кольнул себя острием в тыльную сторону руки и не без труда, хотя все же настолько четко, что прочесть было можно, написал на ногте Инки слово *сгих* (крест). Затем я попросил рыцарей подойти. Они повиновались, одни с ропотом, другие со смехом, и каждый, прочитав написанное слово, тихонько шепнул Атауальпе на ухо: *сгих*. Он был чрезвычайно поражен, и так как все, без запинки, назвали ему одно и то же слово, то он наглядно убедился в таинственном могуществе письма.

Один только генерал не покидал своего места: Франсиско Писарро не умел ни читать, ни писать. Хоть это и было известно многим из нас, ему было досадно, что его уличили в неграмотности перед его офицерами, а также и перед Инкой,— и он насупился. Сообразив, в чем дело, и желая, с удивительной деликатностью, сгладить неловкость, Атауальпа улыбаясь сказал генералу:

— Без сомнения, ты уже знал наперед, что тут написано. Написано: *сгих*. Ты бог среди своих земляков, и тебе не было нужды удостоверяться в этом своими глазами.

— Я не бог. И что ты знаешь о боге, язычник! — бросил ему с гневным пренебрежением Писарро, не поверивший искренности Инки.

— О вашем боге я знаю мало, но много знаю о своем,— был кроткий ответ.— Вашего бога видеть нельзя,

а мой ходит по небу и всякий день приветствует своих детей.

Покачивая головой, генерал отвечал почти сострадательным тоном:

— Несчастный, существует только один бог, и для тебя было бы лучше, если бы ты обратился к нему свои молитвы.

— Как можешь ты утверждать с такой уверенностью, что твой бог — настоящий и единственный бог? — спросил Инка со спокойным достоинством. — И как могу я в него поверить, когда он допускает, чтобы вы убивали невинных, — вы, вечно толкующие о его любви и милосердии?

Генерал промолчал и отошел от него.

23

За час до полуночи в мою комнату вошел рыцарь Гарсиа де Херес и доложил мне, что в большом зале готовится нечто необычайное, и нам нужно быть начеку. Он сам толком не знал, что его побудило обратиться ко мне. Просто он растерялся или поддался чувству безотчетного страха; по крайней мере когда я приступил к нему с расспросами, он только и мог сказать, что Инка сидит в совершенном одиночестве за длинным столом, сидит, не шевелясь, посередине стола, за которым для кого-то приготовлены двадцать четыре свободных места.

Весь прошедший день я чувствовал недомогание и рано удалился на покой; несмотря на это, я встал, наскоро оделся и вышел.

На площади горели смоляные плошки; при их зловещем освещении наши люди воздвигали костер. Большая зала освещалась факелами, и там я, действительно, увидел, как и описывал Гарсиа, что Инка сидит посередине большого стола в застывшей позе, а направо и налево от него поставлено по двенадцати золотых тарелок. Позади каждого из намеченных мест, так же как и за стулом самого Инки, стоят слуги, и все они держат в руках по блюду со всевозможными кушаньями; всего было двадцать пять слуг, они тоже застыли без движения, а позади них стояли в таком же оцепенении и так же безмолвно приближенные и молодые жены Атауальпы.

Это было зрелище, к которому я вовсе не был подготовлен. В сказках приходится читать, как по слову злого

колдуна целое собрание людей в один миг превращается в камни,— вот о чем мне напомнила картина, представившаяся моим глазам; прибавьте к этому зловещий час и зловещее место. Мы с Гарсиа в замешательстве смотрели друг на друга.

Тем временем Кристоваль де Перральта, начальник над городскими караулами, так же обративший внимание на загадочные приготовления пленного государя, отправился доложить генералу о том, что происходит в зале. Писарро в эту ночь пригласил к себе кое-кого из друзей на ужин, и Кристоваль застал их за вином в буйном веселье. Рассказ его был встречен грубыми шутками, но затем генерал, бдительность которого была неусыпна, сказал, что нужно будет сходить туда и взглянуть, что значит это зрелище. Генерал вышел, а за ним пошли оба его брата, дон Альмагро, дон Рикельме, де ла Торре, Алонсо де Молина и Кристоваль де Перральта. На другой стороне площади почти одновременно показался патер Вальверде,— он медленно выступал, читая свой молитвенник, и все время, пока происходили последующие события, он стоял как немой страж, как изваяние между костром и ступенями колоннады.

24

Рыцари, к которым присоединились и мы с Гарсиа, теснились на одном конце зала; я думаю, даже и отважнейшие из них оробели, когда увидели окаменевшие фигуры перуанцев. Вдруг веки Атауальпы поднялись: повидимому, он тут только заметил нас. Взгляд его сверкнул, как огненный луч; я принужден был отвести глаза в сторону, и мой взор остановился на покрасневших мясистых ушах генерала, стоявшего прямо передо мной. Атауальпа поднялся, он был несказанно прекрасен со статной фигурой и гордым достоинством. Багровые отблески факелов пробегали по его смуглому лицу. В алой одежде, облекавшей его стройное тело, царь казался каким-то огненным призраком.

— Люди, скажите же мне, откуда вы пришли? — начал он тихо и задумчиво.— Где та земля, которую вы называете своей родиной? Скажите мне, какова она и как можете вы жить в этой стране — без солнца?

— Как так без солнца? — спросил Андрес де ла Торре

с удивлением,— уж не воображаешь ли ты, что у нас господствует вечный мрак?

— Я принужден так думать, потому что вы объявили войну солнцу,— отвечал Атауальпа.

— Стало быть, ты и солнце — одно и то же? — вскричал с издевкой дон Альмагро.

— Да, уже много тысяч лет,— подтвердил Инка,— мои предки и я, с той самой поры, как маис растет в этой стране.

Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как на площади патер Вальверде бормотал молитвы.

— Мои предки придут,— таинственно проговорил затем Атауальпа,— они не обратились в прах, они придут и будут меня приветствовать.

Все смотрели на него в изумлении.

— Однако вы ничего мне не отвечаете,— продолжал он и оглядел всех.— Почему же вы молчите на мой вопрос? То же ли солнце светит у вас? Вы заблуждаетесь, у вас должно быть другое солнце. Как же не гневается оно, когда вы разрушаете драгоценности, созданные прилежным искусством ремесленников? Как же оно не затмевается, когда вы касаетесь жен, посвященных божеству? Что у вас за законы, что за обычаи? Есть ли у вас лица, которых нельзя касаться? Есть ли для вас что-нибудь неприкосновенное — у вас, чьи руки ни перед чем не опускаются и посягают на все?

Он протянул вперед руки с прижатыми к груди локтями, как две чаши, словно желая принять в них наш ответ. Но ответа не было.

Наступила такая бездыханная тишина, точно появилось привидение.

— Мне хотелось разгадать, что дает вам такое могущество,— продолжал он задумчиво с поникшей головой,— и думаю, что я разрешил эту загадку. Все дело в золоте. Золото дает вам смелость посягать на все вещи и все вещи присваивать себе. А захватывая вещи, вы в то же время разрушаете образ каждой вещи. Золото перерождает ваши души, золото — ваш бог, ваш спаситель, как вы его называете, и кто владеет куском золота, тот неуязвим, тот воображает, что владеет солнцем, потому что другого солнца он не знает. Теперь это мне совершенно ясно, и мне жаль вас, не знающих солнца.

Генерал гневно обернулся; дон Альмагро с угрозой

поднял руку; ропот пробежал в толпе рыцарей. На площади патер Вальверде приказал солдатам, чтобы они начали разжигать костер. Тут произошло такое, что до конца моих дней не изгладится из моей души,— нечто таинственное и страшное.

25

Едва на востоке показался первый румянец зари, как мы увидели длинное шествие перуанцев, которое двигалось по шоссе в Кахамарку и приближалось к главной площади. Посреди шествия возвышались над толпой двадцать четыре неподвижные фигуры на таком же числе стульев и каждый из стульев, выкованных, как мы вскоре убедились, из золота, несли на плечах, как раньше трон Инки, восемь воинов. И каждая фигура была наряжена в драгоценнейшие одежды, и их было двенадцать мужчин и двенадцать женщин — все мертвые.

Они, предки Атауальпы, явились из гробниц, где одни из них покоились десятки лет, другие дольше — целые столетия.

Мужчины были украшены алой повязкой с бахромой и перьями коракенке, женщины были в белых с вышитыми звездами одеждах, окутывавших нижнюю часть тела от бедер.

Когда торжественная процессия, продвигаясь почти неслышно, подошла вплотную к трем ступеням дворца, люди, которые несли мертвецов, выступили вперед, вошли вместе с тронами в зал, приблизились к столу и опустили троны на предназначенные места — мужчин по правую руку от Инки, женщин — по левую.

На верхнем конце стола они установили огромное золотое солнце; сверкая в дрожащих отблесках факелов и плашек, а также в освещении начинавшего уже разгораться огромного костра, оно разливало смутный свет.

Тут Атауальпа начал брать с блюд яства, делая вид, что ест; каждой мумии тоже положили еду на золотую тарелку — и это также делалось для виду. В своих царских одеяниях с чуть наклоненными головами, с волосами цвета воронова крыла или серебристо-белыми — смотря по возрасту, в каком предки скончались, — трупы производили обманчивое впечатление живых людей, и это впечатление усиливалось благодаря резкому освещению

разнообразных огней и розовой заре, все светлее разгоравшейся на востоке.

Лица моих товарищей выражали вначале робость и благоговение, но золотые троны и золототканые одежды, драгоценности, в особенности золотое солнце, пробудили их ненасытное вожделение, их ничем не утолимый голод; их была лихорадка: такое нагромождение сокровищ превышало их воображение и помрачило их разум.

Со всех сторон сбегалась стража, толпами сбегались солдаты; их глаза выражали восторг и ужас, алчность и страх. И во мне тоже вспыхнуло мучительное вожделение, но из-за омерзительной двойственности ощущений — похоти и отвращения, алчности и страха, вида золота и вида смерти — мое сознание помутилось.

Я еще видел, как толпа солдат устремилась к золотым тронам и была отброшена назад рыцарями; видел, как Инка низко склонился перед своими предками, и примеру царя последовали знатные люди, и как затем, когда засверкал первый луч солнца, окинув свалку скорбно недоумевающим взглядом, он с ясной улыбкой двинулся к месту казни; я слышал глухо доносившиеся увещания монаха и монотонные голоса столпившихся вокруг костра рыцарей, читавших *credo* («верую»), но затем меня окружил благодетельный мрак, и сознание меня покинуло на много дней.

26

И все же протекло еще немало времени, прежде чем я приучился к самоуглублению и смиренному созерцанию человеческих дел. Я чувствую, что не в силах описать несчастья и разрушения, какие еще после того совершались на моих глазах, злодеяния, в каких я и сам еще принимал участие, хотя дух мой уже восставал против них.

Мучительно погрязать в грехах и тосковать по святыне, но душа при этом смягчается. От смутного прозрения она переходит к познанию, от душевной косности — к жаркому порыву.

Однажды, когда я бродил по развалинам сожженного города, заглядывая в помертвевшие глаза людей — братьев, я услышал голос, повелевавший мне молчать и ожидать.

В другой раз, наткнувшись в Кордильерах на толпу умирающих детей, которых голод и ужас выгнали из разоренных сел в пустынную степь, я заплакал, задумавшись о том, чем стал человек и чем он мог бы быть.

Я видел смерть во всех образах, в каких она появляется на земле. Я видел кончину друзей, падение вождей, гибель народов, непостоянство счастья и суетность надежды. Я знаю горечь осадка в каждом напитке и яд, скрытый во всяком ястве. Я страдал при виде людских раздоров и безумия даже наиболее просвещенных людей и безжалостного равнодушия, с каким проносится время на этой изнемогающей земле. Я постиг ничтожество всякого владения и вечность всякого бытия. И меня влечет в другой, более чистый, более благородный мир, согреваемый жаркими лучами этого прекрасного солнца. А тот мир, где я живу, вероятно, отвергнут богом.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Известный немецкий писатель Якоб Вассерман (1873—1934) темой для своей повести «Золото Кахамарки» («Das Gold von Sachamalca») избрал одно из самых драматических событий в истории географических открытий и колониальных захватов — гибель громадного государства инков (Перу) под ударом кучки наглых испанских авантюристов во главе с Франсиско Писарро. Рассказ ведется от имени вымышленного спутника Писарро, за которым стоит сам автор, но все основные участники событий — лица исторические, и для их художественной характеристики автор ни разу не прибегает к вымыслу. Он опирается в первую очередь на отчеты двух очевидцев пленения и казни главного героя повести, верховного Инки Атауальпы, чьи имена сам называет: это секретарь «генерала», *Франсиско Херес*, и «брат генерала» (дальний родственник? ¹), *Педро Санчо*. Оба вернулись в Испанию в 1534 г., выехав из Перу вскоре после казни Атауальпы; следовательно, прожили в стране немногим более года; оба поэтому просто не имели времени — если бы даже могли — составить себе хотя бы такое ограниченное представление об общественном строе и нравах перуанцев, какое сложилось у много лет живших в стране (в середине XVI века) историков завоевания Перу — *Педро Сьеса де Леон* и *Августина де Сарате*.

¹ Родных и сводных братьев Франсиско Писарро, участвовавших в походе в Перу, было четверо: единокровный, старший — Эрнандо; родные, младшие — Хуан и Гонсало; единокровный — Франсиско Мартин де Алькантара (убит вместе с «генералом» в 1541 г.).

Несомненно, Вассерман пользовался их трудами для той характеристики — устами современников — перуанского общественного строя, которую он приписывает рассказчику; использовал он также работу потомка инков *Гарсиласо де ла Вега*, написанную на рубеже XVI—XVII веков, — «Правильное объяснение происхождения инков». Заметно также влияние (непосредственное или косвенное) на Вассермана книги известного американского историка Уильяма Прескотта «История завоевания Перу» (1847).

Основные источники XVI века одинаково излагают общий ход событий, но расходятся в частности, иногда очень существенных. Выбирая ту или иную версию, Вассерман преследовал определенную цель — ярче и отчетливее противопоставить два совершенно различных мира: торжествующий европейский мир, основанный на грубейшем насилии, преступный мир эпохи первоначального накопления капитала с его ненасытной жадностью золота и разрушенный одним ударом перуанский мир, где в теократическом государстве инков (фактически — рабовладельческой деспотии) светская и духовная власть сосредоточена была в руках обожествленного самодержца, где золото не играло роли ни всеобщего, ни особенного эквивалента, а было только материалом для изготовления предметов культа и украшения храмов.

Идеализируя государство инков, Вассерман идеализирует и верховного Инку Атауальпу; между тем источники рисуют Атауальпу как «узурпатора», который только что низложил своего единокровного брата, законного Инку — Уаскара, бросил его в темницу, перебил многих членов его семьи и приближенных, наконец, когда сам был захвачен испанцами, приказал тайно убить Уаскара. Напротив, исторически верно Вассерман характеризует противника Атауальпы — «генерала» Писарро, отмечая, с одной стороны, его черты, типичные для рядового «массового» конкистадора — неразборчивость в средствах, жадность, невежество, подозрительность, вероломство и, с другой стороны, его дерзкую отвагу. Но неоправданно он затушевывает такую яркую индивидуальную черту Писарро, как безмерную наглость, выделяющую его даже среди вождей конкистадоров.

Действительно, Вассерман из двух, несомненно, знакомых ему версий захвата в плен Атауальпы отбросил имен-

но ту, которая показывает Франсиско Писарро в более неприглядном свете: «Губернатор,— писал историк Сарате со слов очевидцев,—...в яростном порыве устремился к носилкам, схватил Атауальпу за волосы,.. рванул его к себе и вытащил вон из носилок. В это время христиане нанесли столько ударов по носилкам (ибо носилки были золотые), что ранили губернатора в руку, но губернатор свалил Атауальпу на землю и связал его». Между тем Вассерман заменяет эту безобразную сцену, вполне соответствующую характеру Писарро, другой, несколько облагораживающей его, хотя и с ссылкой на то, что весь его план был построен на сохранении жизни Атауальпы: рассказчик сообщает, что Писарро протянул руку, *прикрывая* Инку, и, уже серьезно раненный, *подхватил на руки* вместе с другим конкистадором падающего Атауальпу (см. конец главы 7).

Из остальных испанцев — участников событий — Вассерман выделяет двоих — Вальверде и Сото.

Патера *Висенте Вальверде* он изображает, следуя большинству историков XVIII—XX веков, тупым монахом. Между тем этот доминиканец, ставший позднее епископом, активно участвовал в составлении и выполнении беспримерного по дерзости плана захвата Атауальпы, именно он подал заранее условленный сигнал к нападению и затем призывал и подстрекал солдат к резне беззащитных индейцев (по свидетельству по крайней мере двух историков XVI века — Гомары и Бенцони). И этот же «простой, малообразованный» человек добился от Атауальпы, чтобы тот согласился перед казнью «перейти в христианство», а от Писарро, — чтобы Инка, как христианин, был не сожжен живьем, а удушен. Что же касается нелепой торжественной речи, с которой Вальверде обратился к Инке, то доказано, что она была пересказом (а может быть и простой читкой) обязательного официального текста «ввода во владение», составленного в 1509 г. хунтой (советом) испанских церковников и юристов для провозглашения «прав» кастильского короля на вновь открытую страну.

Другому активному участнику захвата верховного Инки, *Эрнандо де Сото*, автор — согласно традиционной версии — придает черты мягкости и благородства. Однако эта характеристика не вяжется с поведением Сото, когда он — в 1539 г. — приступил к завоеванию Северной Аме-

рики (он открыл часть нынешнего Юга США — от Флориды до нижнего течения Миссисипи включительно). «Сото не одобрял обращения Писарро с Атауальпой,— говорит буржуазный историк открытия Америки Джон Фиске,— но его собственное поведение относительно индейцев было жестоко и безумно».

Конечно, писатель вправе выбирать ту из разноречивых версий, которая, по его мнению, более соответствует его замыслу. Основной же замысел Вассермана — резкое противопоставление двух миров — выполнен. А страницы, где он описывает золотую лихорадку среди рыцарей первоначального накопления, принадлежат к числу сильнейших в художественной литературе, посвященной истории географических открытий.

И. Магидович

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 3. ...триста рыцарей и несколько пехотинцев. Сведения о численности отряда Писарро разноречивы. По другой версии, он выступил в поход с 62 кавалеристами и 102 пехотинцами.

К стр. 4. Кахамарка, город на севере Перу (у 7° ю. ш.) в верховьях реки Мараньон — Амазонки.

К стр. 4. Эрнандо де Сото (умер в 1542 г.); год его рождения неизвестен — между 1486 и 1499, по разным источникам. О нем см. послесловие.

К стр. 5. Фелипильо, уменьшительное от Фелипе (Филипп).

К стр. 6. ...на конях мы внушали перуанцам больше страха... В Южной (как и в Северной) Америке не было до прибытия испанцев ни диких, ни домашних лошадей.

К стр. 6. Сан-Мигель, первое испанское укрепление в Перу, на берегу реки Пьюра, впадающей в бухту Сечура (у 5,5° ю. ш.); оттуда Писарро начал свой поход на Кахамарку.

К стр. 9. Сьерра (испан.) — горная цепь. К югу от района Кахамарки начинается Кордильера Бланка с вершинами 5—6 тысяч метров (до 6768 м).

К стр. 9. Мадрид. Анахронизм: Мадрид тогда еще не был ни столицей, ни одной из королевских резиденций, а договоры для открытия и завоевания земель за океаном, как правило, заключались и оформлялись в Севилье, где находился «Индийский Совет».

К стр. 11. Долина Куско, межгорная долина реки Вилькано (система верхней Укаяли — Амазонки), где возник город Куско (13,5° ю. ш., 72° з. д.), столица государства инков.

К стр. 11. Вся территория государства... Советские историки определяют государство инков как рабовладельческую деспотию.

К стр. 14. Вальверде Висенте, см. послесловие.

К стр. 15. «Сантьяго» (Святой Иаков). По католической легенде апостол Иаков был просветителем и покровителем Испании.

К стр. 16. Мигель де Эстете, позднее автор отчета о завоевательном походе вглубь Перу отряда Эрнандо Писарро.

К стр. 17. «Педро Писарро». Вероятно, речь идет здесь о Педро Санчо (см. послесловие), так как автор позднее (стр. 56) ссылается на одно из его писем.

К стр. 19. Принц Курака; «курака» не собственное имя, а нарицательное: так величались вожди племен, покоренных инками. Принц мог быть сводным братом Инки, так как мать Атауальпы была наложницей его отца и принадлежала к одному из покоренных племен области Кито (теперь Северный Эквадор).

К стр. 23. Эрнандо Писарро, старший брат Франсиско и единственный член этой семьи, получивший некоторое образование (сам Франсиско не умел ни читать, ни писать). Эрнандо было во время завоевания Перу около 70 лет; среди братьев он был «мужем совета»; некоторые историки именно ему приписывают план захвата Атауальпы.

Секретарь Херес, Франсиско, автор отчета о завоевании Перу, опубликованного и переведенного на несколько европейских языков. Отчет его является одним из важнейших первоисточников по истории завоевания Перу.

К стр. 29. Титикака, высокогорное озеро (6900 кв. км, 3812 м над уровнем моря), считалось колыбелью инков.

К стр. 42. Калькучима был вождем того же племени области Кито, из которого вышел Атауальпа. После казни Инки Писарро обвинил Калькучиму, находившегося у него под стражей, в организации восстания против испанцев и сжег его на костре.

К стр. 31. Они потребовали, чтобы мы поделили сокровища... Золотые сокровища, собранные для выкупа Инки и обращенные в слитки, были оценены в 2 035 625 песо (1 старинное песо содержало около 24 граммов серебра); иными словами, «золото Атауальпы» было приравнено к 48 855 кг серебра — сумма в то время гигантская. После отчисления королевской пятины всему отряду Альмагро выдали... 100 000 песо, а каждому пехотинцу отряда Писарро по 4000 песо, каждому его всаднику по 8000 песо; остальную — немалую — сумму поделили «генерал» и его офицеры. Дележ добычи описан, между прочим, в отчете Педро Санчо. После такого дележа «долголетний соратник и друг генерала», Диего Альмагро почувствовал себя обиденным, прежняя дружба сменилась смертельной враждой после ряда вероломных поступков Писарро. Альмагро первый пал жертвой этой вражды: Писарро казнил его в 1538 г., а в 1541 г. сам Франсиско Писарро был убит группой сторонников Альмагро, во главе которых стоял сын его казненного «друга», Диего Альмагро младший.

Якоб Вассерман
ЗОЛОТО КАХАМАРКИ

Редактор *С. Н. Кумкес*
Художник *Ю. Г. Макаров*
Художественный редактор *В. Г. Петухов*
Технический редактор *Н. И. Ногина*
Корректор *В. И. Попова*

Т-03374. Сдано в производство 13/III 1956 г. Подписано к печати 21/IV 1956 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂ д. Физических листов 1,62. Печатных листов 2,61.
Учетно-издательских листов 2,52. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1302.
Цена 75 коп.

Географгиз, Москва, В-71, Б. Калужская, 15.

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

75 коп.

